
author: Антон Милорадов
title: Ночь накануне свободы
date: "2018-02-24"

Всем твоим дочерям

Not with a bang but a whimper

Есть в августе одна ночь, когда темнота неба срастается с темнотой Днепра. Темней всего перед рассветом. И россыпь звезд плещется в водовороте ракет, взлетая фейерверками и бриллиантовой россыпью падая в зеркало воды. Ты шепчешь себе, что темней всего перед рассветом. Взрывы слепят, отражаясь от воды, и от облаков, и от облаков в воде. Гул, тянущее эхо, бьется о воду, бьется о небо, бьется о стенки черепа, не давая ни на секунду спрятаться. Ты сидишь на самом краю, на берегу, и шепчешь себе, что темней всего перед рассветом. Толпы теней снуют вокруг, стараясь ухватиться за уголек жизни. Во взрывах снарядов различается ярость, но не слышно боли. Небо волнами укрывает реальность. И только чайки, стервятники, падальщики, вопят на разные голоса. Ты один.

Мы шли вдоль набережной, монотонно и глухо. Пьяные люди шатались возле и смеялись, будто им кто разрешил радоваться. Я чувствовал, что этот разговор последний, которым можно что-то изменить. И все равно молчал. Антону хотелось поделиться, но если я заговорю первым, то дам ему возможность выразить то, что могло бы иначе не существовать. Он не выдержал:

— Я так больше не могу, — кажется, он был в этом искренен.

— Может, стоит потерпеть?

— Я уже столько натерпелся. Можно, я не буду больше терпеть?

— Можно.

Вот и все. Как мало нужно для того, чтобы разрушить мучения чужой воли. Просто разреши что-то, о чем ты даже понятия не имеешь. Возьми ответственность. Не нужно даже ничего делать. Просто разреши.

Очередная любовница. Очередной соседний стол на работе. Очередные дурацкие поэтизированные глаза, которые выдернут его из плавно грустнеющей повседневности. Точно так же, как и в прошлый раз. И в позапрошлый. Как и все повторяющееся, подвластное паттерну, требует к себе уникального, отличного внимания. Нового одобрения.

— Ну, расскажи. Жопа орешек? Какие-то другие бонусы? Только, ради бога, не надо заливать про глаза.

— Конечно. Молоденькая. Модель.

Тут надо дать маленькое пояснение. В моем городе в прошлом году (или в позапрошлом, кто за ними следит) завелась мода на модели. Так как и без того скудное мужское население уничтожали алкоголь, наркотики и война, женская конкуренция приобретала особенно ожесточенный характер. Каждая дама, которая хотела передать свой генотип дальше, тратила треть зарплаты на косметолога и маникюршу, и еще треть на самого модного городского фотографа. Через три фотосессии ее можно было считать настоящей моделью. После этого у нее появлялся шанс привлечь внимание какого-нибудь завидного жениха, типа моего дважды женатого, с двумя детьми, друга.

Мою модель звали Кукушкой. Высокая блондинка с огромными глазами и широкими скулами; жопа орешек, как и положено. Украинская националистка, она была моей последней попыткой любить родину беззаветно.

— Вірогідно, завтра буде дощ, — ах да, она не говорила со мной по-русски. Вы не подумайте, она умела. Все, в той или иной мере, умеют. Просто делала это из принципа, потому что я мог ее понимать.

— Золотая, “вірогідно” — это достоверно, вероятно — это “імовірно”.

Ее и без того тонкие губы вытянулись в струнку. Мышца на щеке начала дергаться, а глаза смотрели пристально на меня, будто пытаюсь заколдовать. Пальцами она смяла покрывало. Я сидел замороженный, в ожидании взрыва. Она глубоко вдохнула. И залилась хохотом, глухо ошеломившем меня; я тоже рефлексивно стал подхихикивать.

— Ой котику, у нас все знає, вже й помилитися дівчині не дає.

За окном гудела тьма, только одинокие пьяные выкрики разрушали ее полотно.

Мы шли вдоль набережной, темной и пустой. Никто не освещал ее, только из ночной дымки выплывали заливающиеся хохотом силуэты. Днепр шелестел рядом. Огонек зажигалки ослепил меня. Зато он смог подсветить фрагмент моего лица.

— Зачем мы здесь? Мы ведь ходим по кругу.

— У меня была возможность уйти от жены, от каких-то обязанностей. Вот и ходим.

— Нам бы покурить.

Я его провоцировал. Антон завязал с наркотиками, когда женился во второй раз. Его никто не просил, он просто хотел выглядеть лучше. Стеснялся себя, что ли.

Было в нем что-то такое, что вызывало восторг у всех старушек: он искренне хотел быть хорошим. Знаете, таким хорошим-хорошим, как в стихотворении Маяковского. Эдакое жизненное кредо. Мне кажется, что когда он выл по ночам, от тоски по второму разваливающемуся браку, он приговаривал при этом: “Я же хороший, я же хороший”.

Меня всегда пугало в людях это настырное желание быть белоснежными по своему (обязательно неписаному) катехизису. Мне кажется, убийцами и палачами становятся исключительно хорошие люди. Превосходные в своей хорошесть. Ведь порочность, неправильность, рефлексия, какое-либо осознание себя мешают расстреливать, рубить на корню, загонять в угол. Под ними дрожит рука, дрожат колени и весь чертов мир не имеет никакой полярности, черного и белого, он бесконечно сереет и разбивается на гаммы. Хорошие люди не боятся последствий. Для них есть сейчас и белизна далекой победы. Короче, я очень боялся, что мой друг хочет быть хорошим человеком.

— Антон, нам бы покурить.

Он молчал и думал о чем-то о своем.

Паша, наш драгдилер, пал окончательно. Кроме различных наркотиков, он стал вовлечен в сетевой маркетинг фирмы “Амвэй” и начал продавать самую лучшую, самую технологичную бытовую химию, не тратя ни цента на рекламу и пользуясь исключительно силой сарафанного радио.

— Вот тебе кораблик плана и чудесная зубная паста Глистер для доченьки со скидкой в тридцать процентов. Как себе отдаю!

— Это тебе полбанки эфира, друг-анестезиолог подогнал и... Не забудь уникальный концентрированный стиральный порошок SA8 для супруги!

— Полграмма спидухи, еле урвал. Зато напиток Иммуно Актив всегда в наличии. Я бы на твоём месте подумал о здоровье и о том, что от спидов на отходах падает иммунитет. Не забудь принять Иммуно Актив утром и перед ломкой.

— Вон на ложке осталось чуть-чуть героина. Но зато, когда отойдешь, не забудь помазать место укола увлажняющим лосьоном Body Series! Он моего кореша от гепатита спас!

По правде говоря, Паше очень даже подходил бизнес по вливанию рекламы в уши домохозяйкам. Да и для старых клиентов, которые еще могли физически интересоваться институтом брака, возможность легко отмазаться перед супругой, просто докупив к наркотикам дозу бытовой химозы, была бесценна.

Мы ехали по раздолбанной дороге мимо полей.

Ночь в пригороде совершенно другая, чем в центре. В городе ночью в последние годы тихо. Кутить по ресторанам дорого, сидеть под подъездом холодно. По ночам люди греются у телевизоров, в надежде на то, что сегодня их минут новости. А новости все не кончаются и не кончаются.

В пригороде иначе. Здесь нет живых душ, и ночи есть где разгуляться. По холмам и пригоркам, по трубам закрытых заводов на отшибе, по домам безысходно спивающихся людей и вою злых цепных псов. А еще здесь есть поля, с давно убранными колосками, с озимыми. А на краю поля всегда растут деревья, ограничивающие океан ночи, который все равно успевает перехлестывать за их верхушки и заливать глухие пригородные души.

Мы повернули на поселковую дорожку, вглубь поля: подальше от глаз, поближе к осенним звездам. Трава была свежая, крепкая, шла жестко. Я закашлялся. Антон, посмеиваясь, шептал: “Держи, держи, держи!” Паша лепетал какой-то свой фольклор улиц. Я вспоминал статью, где утверждалось, что когда кашляешь, конопля берет только крепче. Но все равно пытался выдохнуть свою печаль без рывков.

Кукушка ушла красить ногти и дала мне свободу на вечер. И вот я снова могу дышать.

Здравствуйте. Меня зовут Антон. Мне двадцать пять лет. И я начинаю любить наркотики.

Перестая их отвергать. Принимаю их как средство перевода ужаса смерти и ужаса бытия в физическое разложение. Пожалуй, за эту мысль меня особо не похвалят. Но ведь только принятие мира, принятие боли, принятие простых человеческих тленностей может помочь смириться со всем, что происходит. Когда у тебя нет власти ни над происходящим вокруг, ни над происходящим внутри, а есть только страх и боль, должно быть средство для спасения. Сколь бы низменным оно не казалось. С возрастом начинаешь ценить отсутствие боли. Без идеалов, без поисков, без выискивания смысла. Простой миг без страдания. Я Антон. Мне двадцать пять лет лет. И я учусь любить наркотики.

Мы отошли от урагана мушек и пыли, играющих в свете фар. В темноте мысли звучат громче.

— Хорошо ли тебе, брат? — спросил я.

— Потихоньку. Знаешь, она такая молодая. Излучает энергию. Как Лиза. Помнишь Лизу? Ведь я только ее и любил. Она так похожа на жену, но совсем другая. Жена не разрешила с ней больше разговаривать.

— А ты что?

— А что я? А у меня есть выбор? Надо ей написать как-нибудь. Позвонить. Ты напиши. Прошу тебя, напиши. Хочу ее еще раз увидеть.

— У нее практически муж. Все хорошо.

— Да знаю я, знаю. Только надо написать, — Антон замер на секунду и продолжил, — Знаешь, я ведь не только с женой. Одной, второй. У меня ведь еще было. Друг хотел спасти из этой тягомоты, привел какую-то толстую барышню и говорит: бери. Мне она не нравилась. Совсем. Но я взял.

— Зачем?

— Интересно было. Скуку развеять. Человеком себя почувствовать.

Он замолчал и пропал в темноте.

В съемной комнате Кукушки отклеивались обои. Вряд ли здесь когда-то делали ремонт. У хозяйки умер сын, и она уехала искать счастье. Кукушка переводила ей деньги раз в месяц. Время близилось к полуночи. Кукушка делала зарядку. Под агрессивную музыку она с серьезным видом поочередно поднимала руки над головой, переносила опору с одного обнаженного бедра на другое. Она вычитала в каком-то очень авторитетном источнике, что это полезно для зада. Пусть так.

Мне она тоже периодически в снисходительно-назидательной манере говорила, что нужно заняться спортом. Кто мне только этого не говорил в снисходительно-назидательной манере. Видимо, я родился не в свою эпоху: мне куда ближе быстрое разложение плоти, чем разложение плоти медленное. Есть что-то в этом комичное, когда несчастные люди встают

бегать по утрам. Бьюсь об заклад, никто не делает это ради какого-то гипотетического здоровья. Только страх смерти и бесконечное желание понравится противоположному полу (чтобы потом удачно воспроизвестись, что, по-сути, тот же самый страх смерти). Особенно забавно подъем спорта в Украине смотрелся на фоне ужасающего экономического кризиса и войны на востоке. Будто весь народ куда-то отчего-то бежал.

Кукушка остановилась, выключила музыку и деловито пошла спать. Мне отводилось место у стенки. Я уезжал через несколько дней, возвращался через пару месяцев. Романтическое приключение превращалось в рутину.

Когда самолет взлетал, я понял, что очень боюсь смерти. Странное чувство. Оно не посещало меня уже довольно давно. Меня не пугала концепция потери жизни: сложно бояться потерять то, чем ты не обладаешь в обыденном смысле этого слова. Я боялся не написать повесть, я боялся не увидеть больше Кукушку. Поразился собственной ничтожности, утопающей в звуке турбин. Не то, чтобы эти два фактора были смыслом или целью моей жизни, даже обоснованием не были. Просто разбейся я сейчас, получилось бы как-то грустно и нелепо, да и все. Эдакая фрустрация от открытой концовки. Я взлетел и приземлился нормально, хотя садиться в Киеве всегда тревожно, уж слишком близко самолет пролетает над домами. На границе, с обреченностью и апатией, стояли молодые автоматчики. Даже не представляю, зачем ко мне может потребоваться применение автомата, у меня даже багажа нет. Не могу понять, чего они этим добивались: запугивали меня или наоборот искренне боялись, может создавали иллюзию контроля.

Дальше очередь. Нужно нащупать паспорт в сумке, но не доставать его до последнего.

— У вас есть вид на жительство?

— Нет.

— У вас просрочен выезд.

— Ваши ребята не поставили штамп.

— Пройдите к начальнику.

И ты идешь к начальнику, держа в руках свое двуглавое ушлепище, пока люди на тебя смотрят. Летал я довольно часто, но каждый раз забывал купить обложку на паспорт. Это было своеобразным актом самобичевания: проходишь сквозь презирающую тебя толпу, которая выразительно смотрит, но все еще стесняется что-нибудь сказать.

— Цель визита?

— К б-б-бабушке приехал, — тут главное изобразить полное отсутствие связи с миром нормальных людей.

— Где живет бабушка?

— На улице Гайдара... ой, простите, имел в виду на улице Героев Майдана. Извините.

— Проходи.

Мы шли вдоль набережной в гнетущей тишине, опасаясь потери смысла. Шумящий в темноте Днепр создавал фон, придававший значение пустоте между словами. Но он не был способен скрыть пустоту самих слов.

— Знаешь, я не люблю Булгакова. За то, что он ненавидит своих героев. Он слишком жалок, чтобы их полюбить. Грязь, желчь и мелкая ненависть сплетенная в красивую формочку для людей с сознанием старшеклассницы. Знаешь, я не могу тебя полюбить. Нет, даже не так: я не могу тебя продать. Я понимаю, что ты страдаешь, тебе плохо, я очень хорошо к тебе отношусь, по-человечески. Но вся твоя история превратилась в дешевый фарс. Во мне не хватает восторженности, любви. А ведь тебя я люблю больше других. Кукушки, родины, тучи более мелких ушлепков. Ну вот, ушлепков. Видишь: грязь, желчь и небольшая ненависть. Никакой любви. Ужасно страшно это сознавать. Знаешь, будто я могу видеть только маленькие гадости, которые медленно размалывают все, что мне дорого. Я смотрю на мой мир, который съедает ржавчина, не оставляя даже пустоты. Только осознание собственной беспомощности и желчь.

— Не пиши про меня. Пожалуйста.

— Почему?

— Ты опять все разрушишь. Ради бога, не пиши.

— Но разве тебе нравится то, что у тебя есть? Пойми, если бы тебе хоть на секунду нравилось, мне не о чем было бы писать, — я ненадолго остановился. — Разрушу, говоришь? Так может и стоит разрушить. Устроить эдакий маленький круг перерождения, после которого ты будешь уже не ты. Знаешь, самое неприятное — ты и другим не станешь. Чуть опытней, чуть циничней, чуть с большей верой в бессмысленность, но все по тому же кругу. Пока не упадешь.

— А какое ты на это право имеешь?

— Я? Имею? Да совершенно не имею. Мне просто все еще любопытно. Любопытно смотреть, как все разрушается. Любопытно смотреть как ржавчина лангольерами жрет наш мир. Любопытно, как мы с тобой стареем, не успев повзрослеть. Тошно, грязно, больно, но безумно интересно. Повторяю, я не имею никакого права разрушить твою прекрасную жизнь, которую ты ненавидишь. Просто сама возможность сформулировать это таким образом ее уже разрушила.

В крике Кукушки растворялись стены. Я не знаю, с чего все началось, причина уже пропала в потоке мата и ругательств. Я помню только подрагивание ее верхней губы, когда она пыталась сдерживать волну нарастающего гнева. Когда губа начинала дергаться, все, что я говорил, раздражало ее только сильнее. Молчание пробуждало и вовсе невиданных бесов. От нее нельзя было отойти, к ней нельзя было приблизиться, все это делало приступ только сильнее. В этом мареве животной ненависти утонула не одна вечность.

Когда все затихало, реальность приобретала новую тяжесть. Пот на линиях жизни тянул руки вниз. Все текстуры поверхностей становились слишком ощутимыми, будто бы в моей голове пропадало всякое воспоминание об очертаниях мира и мне приходилось открывать их заново. Вот дерево потертого лакированного стола. Вот гладь молока, впитывающегося в его трещины. На ней медленно-медленно разбухают кукурузные хлопья. Сверху, в теплых лучах лампы, оседают пылинки. Воздух горяч, и когда я вдыхаю, я ощущаю как эти самые пылинки, пролетая через рот и горло, покалывают мои легкие.

После приступа гнева нельзя было не делать виду, будто ничего не произошло. Это вызывало новый взрыв. Всего через пару часов Кукушка не могла вспомнить, что причинило ее ярость, что она говорила, как себя вела. Будто всё воспоминание было закрыто для ее памяти. Она улыбалась и продолжала быть как прежде. А мне оставалось только ждать следующего раза. Иногда, в шутку, я думал, может ли она, в порыве своей страсти, схватить, например, нож. Потом я смеялся над собственной трусостью и тому, что уделяю этому слишком много внимания. Ведь в остальное время, все шло как нельзя лучше.

Кукушка тихо спала, свернувшись калачиком. А мне ничего не оставалось, как тихо изображать сон. С ней мне не хотелось читать, да и писать тоже, по правде, не хотелось. Десять вымученных страниц за одно долгое-долгое лето. Любимых страниц, наверное. Она орала на меня за то, что я не пишу. Она тихо ненавидела меня за то, что я пишу. В ее комнате время застывало и теряло всякое значение. И только числа на экране сменялись, предвещая скорый конец, но не имея смысла сами по себе.

Она вставала за два часа до выхода на работу, готовила кофе и заливала хлопья молоком. Приставать к ней строго-настрога запрещалось: иначе она опоздает. Потом час или полтора красилась, пока я читал новости или какую другую чепуху. В мои обязанности входило застелить постель рисунком на покрывале вверх (каждый раз после этого Кукушка смотрела на меня будто я ее любимый ребенок с задержками в развитии) и выключить удлинитель (чтоб ноутбук не сгорел). В итоге она все равно опаздывала на полчаса.

Кукушка очень гордилась тем, что читает книжки. Конечно, она любила “Вино из кульбабок”, куда современной женщине без этого. И все остальное, что в интернете называли классикой, сопровождая цветастой картинкой. У книги обязательно должна была быть хорошая верстка и

обложка, подходящая к цвету ногтей на этой неделе. Еще там должна была быть Цитата, которая бы раскрывала красоту украинской природы (или любой другой природы средней полосы, Пастернак тоже пойдет) и загадочную женскую душу, желательно сразу. Все это можно было разместить рядом с ее фотографией на фоне пейзажа в социальных сетях. Когда она уходила на работу, я мог спокойно прийти к себе домой и отоспаться. А еще надуматься вволю. Кукушку бесило, когда я думаю.

Когда упал самолет, я был практически счастлив. Июльский день близился к вечеру, можно было открыть окна со стороны Днепра и пытаться поймать в форточку легкий солнечный бриз. Первые весточки, что сепары уронили пассажирский, еще неуверенным черным шрифтом. Жара жуткая, можно сходить за мороженкой. Много-много-много трупов. Говорят, что почти двести. По зомбоящику пока тишина. Голландцы. Европейцы. Холодная волна подморозила мне мозг. Неужели это все наконец закончится? Неужели это наш черный лебедь? В дверь позвонили.

— Представляешь, русские сбили пассажирский? Ты понимаешь, нам помогут?

Мы курили в тени тополей, около заброшенного пляжа. Менты не будут сюда соваться в такую жару. Антон сказал:

— Выкупаешь, под Донецком тоже жарко. Вонь, небось, стоит.

— Если эта вонь остановит войну, то пусть стоит. Пусть благоухает по всем окрестностям. Нас накрывало волнами. Прохладная вода измазывала ноги илом. Было душно, но при этом хорошо. В этой неге оставалось только пересчитывать секунды, пока истовый страх не начнет острыми иглами разрывать на части делирий Антона. Он ощущает, что конопля расслабляет, уносит все проблемы и ноги становятся ватными, но без малейшего дискомфорта. Он ни о чем не думает, и вдруг резким уколом появляется стыд: ему стыдно за то, что он посмел расслабиться, за то, что он делает что-то незаконное, а если честно — стыдно за то, что ему хорошо. И тут кайф становится ему невмоготу: он пытается выстроить систему своих привычных страхов, которую тут же начинает смывать волной дурмана. Эта внутренняя борьба продолжается секунд пятнадцать, может двадцать. Лицо его искажается, будто от боли. И он, наконец, изобразив трезвость, натужно говорит: “Пошли”. Антону бесполезно противоречить, потому что страх провиниться, опоздать, стать еще более должным взял верх над парой минут спокойствия.

Его дом, в сущности, не изменился. Другая жена, другая дочь, а так, те же стены. Газон в саду не хватало сил поливать, но и не было воли забросить. Поэтому вяловатые травинки с ненавистью смотрели на солнце.

Мы зашли, тихо поздоровались, сели. Люся была из деревни, а потому и решила вырастить из Антона себе богатыря. Готовила много, посытнее. Он тоже не отставал и два раза в год колол курс стероидов. В это время Антон зверел и пытался бросаться на людей. И все бы было хорошо, да только его ярость сменялась ее астенией и пассивной агрессией. Она пилила его, потому что хотела хорошей жизни. Он тоже хотел хорошей жизни, а потому не знал, куда сбежать. Мы ели в тишине.

Люся никогда не вызывала у меня раздражения. Черные волосы, еврейская фамилия, эдакая деревенская Софи Лорен. Да и ее характер не казался тяжелым для чужих людей. Возникало ощущение, что всех своих женщин Антон чем-то портил. Он не был плохим человеком (наркотики не в счет, это обезболивающее). Любил их слишком страстно, что ли: отчитывался, принижался, старался чересчур. И все они через время становились в одну позу — вечно недовольной мамыши, бесконечно названивающей, контролирующей. — А после этого где ты был?

— Заехал за Антоном, мы посидели пятнадцать минут. Новости смотрели, самолет упал.

— А здесь не могли посмотреть?

И тому подобное: Антон сам загонял себя в угол, чтобы потом выпутываться. Скажи он, хотя бы раз, по началу, что пошел курить коноплю, Люся бы съела и не поморщилась. А теперь нужно пресмыкаться и врать.

Стемнело. Мы покурили еще раз за гаражом, пока ходили в дальний магазин (на самом деле в ближайший). Пироженок с лаймом не оказалось, поэтому пришлось бежать в магазин средней дальности. Все мои предложения купить пироженок с апельсинчиком были отвергнуты, Люся сердиться будет.

Пока мы пили чай, его дочь ползала между стульями. Когда на нее обращали внимание, она, закрывая лицо маленькими ладошками, стыдливо отворачивалась. Мне было ее очень жаль. Дома новости про самолет пестрели красными буквами. Я замороженно смотрел, как камера в режиме ночной съемки, подергиваясь, ползала по полю неестественно разбросанных, искалеченных, разломанных тел.

Мы шли вдоль набережной, полной неумолимо исчезающего детства. Вдалеке играла музыка, горели огни дискотеки. Мы пошли ближе к свету.

На террасе большого ресторана, который находился в здании заброшенного порта, была выстроена сцена, около которой танцевали местные подростки.

— Пошли плясать?

— Ты что, не видишь, что нам уже поздно?

И правда, дети были в среднем лет шестнадцати – семнадцати, не больше. Среди них затесался начинавший стареть алкоголик, а так, в целом, действительно, нам было поздно. Мы встали около старой колонны, все еще державшей навес над портом.

Подростки около сцены колебались и шли волнами, сцепляясь и расцепляясь, замирая и резко вздрагивая под потоками похоти, страха и вспышками безразличия. Окружающая реальность их не касалась, она просто затаилась в далеком полумраке в ожидании первых капель крови. Чудовищное настоящее, отсутствие какого-либо будущего — все это отходило во тьму под ритмическое колебание своих жертв. Эта залетит от вот этого вот, не сейчас, через две дискотеки; вон тот умрет на войне; тот сопьется; этот снюхается; а она будет тащить лямку всю жизнь. Танцуйте, танцуйте, пока не поздно, танцы имеют склонность кончаться.

— Ты понимаешь, что молодость ушла. Это все теперь не про нас. Сколько я мог. Кого я только не мог. Боялся, не знал, не понимал.

— А сейчас?

— А сейчас это все не про нас.

Лева был барыгой с большой буквы. Он даже квартиру купил напротив отделения милиции. У него мы брали брали всякую экзотику: колеса, шалфей, марки. Спицы, когда совсем больше не у кого было. У Лева было стабильно среднее качество и цены стабильно выше среднего, зато, у него всегда был ассортимент.

Лева был мифическим персонажем. Грузин, что редко встречалось в наших краях. Как и все кавказцы, которые не сбежали на родину, идеально говорил по-русски, ассимилировался еще в прошлом или позапрошлом поколении. Но при этом, как водится, за глаза, никто не стеснялся отпустить ремарку про “понаехали”.

В одной из комнат его квартиры обои были содраны до бетона, разрисованного в лучшие моменты забытья. Всегда было открыто окно, и стояла гимнастическая скамейка с гантелями. Никто не видел, чтобы Лева когда-нибудь что-нибудь ел. Только бутылка пива в руке, только хорошее настроение. Он жил с женщиной, у которой был ребенок, вроде бы не от него. Свообразно заботился о них: когда третьеклассница забегала на кухню, он старался спрятать порошок подальше. Та еще сцена: забегает маленькая девочка, и на нее пялятся пять взрослых рыл со странными глазами, пока дядя Лева прячет что-то за спиной. Ее матери он тоже помогал забыться.

Леву пришли брать с размахом: с собаками и спецназом, тараном выламывали дверь. У ментов кончался квартал, нужна была отчетность. Нашли пакет со всем-всем-всем, подбросили сверху, заковали в наручники и увели. Когда его с гордостью показали начальнику отделения, тот разразился: “Вы что, ополоумели?! Это же Лева!” Через час Лева стоял около выбитой двери и думал, что бы с ней сделать, пока соседи не начали возвращаться с работы. Не знаю,

правда ли все это было, но так говорят легенды.

Когда началась революция, Лева проникся. Он координировал действия фанатов, которые брали у него амфетамин перед матчами. Под его командованием захватили администрацию. Не без потерь: менты из окна сбросили вазон и проломили какой-то случайной девочке голову. Лева очень гордился шрамом от резиновой пули, которая угодила ему в лоб прямо на Майдане.

У Левы в жизни была одна отдушина. Летом он брал своего кореша, пакет с пятьюдесятью колесами, который прятал в обшивку машины, и ехал на Казантип. Там отдыхал неделю. Поэтому Крым он воспринял как-то слишком уж лично и пошел воевать.

Про Леву ничего не слышно. Кто-то говорит, что видел его в одном батальоне, кто-то, что в другом, а кто-то, что Леву давно уже нельзя увидеть. Его подруга забрала ребенка и съехала к родителям. А окна все так же открыты, и по его бетонным стенам гуляет ветер.

Как разделять солдата

Итак, допустим, у нас есть солдат. И тут, после ночи кутежа и веселья в окопе на линии фронта, ему приспичило по малой нужде. Конечно же, будучи беспробудно пьяным, он решил перебежать через неправильное поле и угодил под артобстрел. В итоге у нас имеется труп 1 шт., фрагментированный. Так как мы люди морально здоровые и социально ответственные, кусочки полагаются сгрести в деревянный ящик, написать на нем цифру “200” и отправить к родственникам. Им от этого почему-то должно быть легче. Надо отметить, что мы, все-таки не совсем варвары. Поэтому отныне солдат именуется не иначе как герой, родственникам в довесок к ящику можно подарить какую-нибудь фигурную железяку, а детей солдата сдать не в простой детский дом, а в элитный, со всеми удобствами.

Теперь переходим к частям более интересным. Солдата надо ославить на весь регион, а лучше на всю страну. Его ревущих детей показать в каждом выпуске новостей на следующий день, а потом еще и в конце недели. По возможности, ему несомненно нужно придумать ратный подвиг: ну не справляя же он нужду погиб, а героически держа оборону перед превосходящими силами противника. Кроме того, нельзя забывать его выдающиеся человеческие качества: любил подвыпившим запеть — значит оперный певец, фотографировал себя с соратниками на телефон — значит подающий надежды фотограф, от беременной девушки сбежал на фронт — молодой отец, который мечтал прокормить семью, пил больше всех — душа компании, ну и так далее. В его городе нужно поставить портрет в самом центре и зажечь пару свечек. Главное — все должны думать только о нашем герое и о войне, а не о своих проблемах вроде нехватки денег, плохих дорогах или, не дай бог, коррупции. Местное искусство тоже не должно оставаться безучастным: из трупа солдата можно сделать фильм, написать песню или, на худой конец, поэму в четырех частях.

Когда мы разобрались с возвышенными частями солдата, можно приступать к практическим. Конечно его вооружение, паек и так далее продадут его сослуживцы, тут даже ловить особо нечего. Но мы, на самом деле заработали когда солдат был еще жив, когда на один танк из четырех мы купили акр земли где-нибудь в элитной части Испании; за автомат купили пару плиток белого мрамора, по которому будут ступать босые ноги наших дочерей; сэкономив на пайках, забили наши холодильники до отвала; заведя пару мертвых душ, наняли прислугу к себе на виллу. И мы будем жить так, будто всего этого кошмара нет и не было никогда. И кто в этой истории пострадавший? Солдат? Так он и не видел ничего в жизни дальше своего сада возле хаты. Он не знает, что такое настоящее солнце, горы, море, власть. Ведь он спокойно на заклание идет, умирает, как полный дурак, безо всякого смысла. А уж из его смерти получается и мрамор, и идеология, и гордость семьи, которая никогда не любила его настоящим, и порой, как ни странно, даже победа. Умирайте солдаты, вы никому не нужны живыми.

Кукушка работала в конце моей улицы. Я ждал ее в тени старого каштана. На асфальте был различим песок, надутый ветром с днепровского пляжа. Дети на площадке играли в церковь: маленький пастор гонялся за грешниками, изгоняя из них пороки тумачами. После экзорцизма они шли молиться в специально отведенную на площадке зону. Последний грешник сам становился священником. Все дети на площадках, чем дальше, тем больше становились украиноязычными. С возрастом это куда-то девалось. Или с моим возрастом это куда-то делось.

По дороге к Кукушке я покупал ей “Сникерс” в белом шоколаде. (В то лето продавали эксклюзивный “Сникерс” в белом шоколаде, с миндалем. Когда я приезжал осенью, его было уже очень трудно найти.) Она искренне радовалась конфете, как ребенок. Я ее не понимал, но все равно покупал. Это было так странно: я прилетел через линию фронта, месяцами сидел у родственников, изнывая от тоски, со своей стипендией, по местным меркам, мог позволить себе все, а разница была в одной конфете. Не знаю, в чем мораль этой байки: если мы романтичны, то можно сказать, что важна не конфета, а внимание, если оголтелые натуралисты, то можно сказать, что в разоренном государстве даже “Сникерс” — предмет роскоши, а если бы вы знали Кукушку, то просто бы сказали, что она любит белый шоколад с миндалем.

Когда мы вошли в кафе, официантка сонливо пошла включать свет в половине зала. Клиентов не было, сэкономили. В полутемном помещении можно было рассмотреть красные диванчики из типичного дайнера, дешевенький, но старательный ремонт, выключенный боулинг, от которого доносился призрак звука падающих кеглей. Был там и бильярд. От скуки я пытался научиться играть, порой даже попадал по белому шару. Играли мы в американку, слово “русский” мне было крайне несимпатично.

В полутьме кафе белизна волос Кукушки и ее упрямый взгляд оттеняли все вокруг. Она говорила без умолку. Я кивал. Все-таки что-то в этом было — сидеть на развалинах мира, в полутьме, в месте, где когда-то радовались люди, и слушать, как щебечет Кукушка.

— Как там Китлер? — так звали одного из ее котов, беленького, с черными пятнышками над верхней губой.

— Хорошо, растет. Достает других котов, правда. Зато, когда я приезжаю, тут же начинает себя хорошо вести. Хотя ему не до меня, за кошечками уже гоняет, — я решил переводить Кукушку для вашего удобства.

— А родители?

— Все отлично. Папа работает, у мамы каникулы. Она следит за садом. По всем клумбам в саду распустились гладиолусы. Тихо, жарко, хорошо. Изредка продувает прохладный ветерок, на улице шумят тополя...

Мы шли вдоль набережной, в плену ночи, надеясь на побег. Прохладными брызгами шумел Днепр. Пьяных людей не было слышно, шли мы одни. Антон явно хотел что-то сказать.

— Ты понимаешь, она залетела через две недели, — со вздохом сказал он.

— А предыдущая через три года, что это меняет?

— Через две недели. Как это биологически вообще возможно?

— Смотри, все очень просто: сперва родители создают тебя. В школе и дома тебе как мантру читают, что нужно предохраняться. По молодости ты так и делаешь. Но потом понимаешь, что без этого как-то веселей. В твоем случае происходит еще одна девиация: ты решаешь, что слишком любишь очередную тетку через два дня после знакомства и сознательно стараешься заделать с ней потомство. Кроме того, ты считаешь, что на тебе висят кредиты, а презервативы слишком дороги. На лицо пример неудачной экономии.

— Но слушай, через две недели! Предыдущая не могла три года. А тут какой-то ген суперплодородия, хоп и все.

— А ты о чем думал?

— А она о чем думала?

— И то верно.

Мы посмеялись в темноту.

— Я ведь хочу им лучшей жизни, ты не подумай. Но как это сделать? Она не знает английский, она не двигается с места, она не хочет двигаться с места. Есть молоденькая, но что я опять, да и с ней куда? И все это длится, тянется, тянется, а лучше не становится. Хоть в петлю лезь. С ней я хоть живым себя чувствую, хоть и бежать уже некуда.

— Так не беги, разберись с тем что есть.

— Как не беги? Ты сам не видишь, что здесь ничего не будет? Все утонем.

— Ты знаешь, я ведь тоже не могу убежать. Я стараюсь убеждать себя, что я рвану в пучину по первому зову сердца. Но я в лодке, и мне некуда бежать. Я не могу бросить все, я не могу прыгнуть к тебе. Я понимаю, что здесь я чужой. Я не готов умирать за несправедливость. Да я вообще умирать не готов. А внутри, понимаешь, такая благая уверенность, что все еще готов, все еще могу. Знаешь, как больно: я понимаю, что вру себе, но прекратить это не в силах, потому что знаю — как только прекращу, как только скажу себе, что я и правда не способен поступать так, как думаю, внутри меня умрет что-то важное.

Я помню, дождь стучал по отливам всю ночь. Или местные алкаши стучали по отливам всю ночь. Жена дяди Толи торговала самогонкой на разлив, в кредит. Стучали и стучали. Но мне не мешал стук. Мне мешала темнота, чужие простыни и ощущение легкой опасности. Вставать надо было рано, ведь утром бой. А они все стучали и стучали.

Дядя Толя был из тех родственников, которых видишь дважды в жизни, а потом не можешь понять, почему все переживают из-за их скоропостижной смерти. Еще он громко смеялся, в попытке подружиться, больно сдавил мне руку и говорил без подобающего моей тринадцатилетней персоне уважения. Это все, что я про него помню. Еще он был женат на даме, которая напоминала цыганку и торговала самогоном на разлив и в кредит. Несмотря на всеобщее презрение к его супруге, женат он был, вроде бы, счастливо. Еще с ними жил ее внук, который тоже умел торговать самогоном на разлив и в кредит с малых лет. Ее дочь сидела в тюрьме, свою дочь она удочерила тоже в тюрьме, после того, как умерла ее подруга-сокамерница. Короче, типичный скучноватый чернушный сериал, вроде тех, которые включают пенсионерам по третьим каналам в два часа дня.

Так вот, стучали. Самое страшное в этих маленьких городках, что за окном ночью темно, в комнате тоже темно и даже сумрачные тени не гуляют по потолку. Глаза не особо привыкают к темноте, и ты начинаешь нервно шарить по чужим свежим простыням в поисках точки опоры. Из-за нервов и привычки выдавать гостям лучшие, теплые, одеяла, становится особенно жарко, простынь комкается и сползает. И ты прижимаешься голой спиной к чужому матрасу, в доме людей, которых ты не очень хотел бы знать, отчего по телу проходит нервная судорога. И ты уже не в темной комнате, а в черном мешке по дороге на казнь. И ты понимаешь, что лучше остановиться и успокоиться, потому что очень неловко будет закричать в чужом доме. А за окном опять стучат. И снова темнота, и снова душно, и снова учащается дыхание и снова тебе на голову набрасывают мешок.

Как только я закрыл глаза, механический будильник вырвал меня из этого цикла страха. В утренних лучах все выглядело терпимей. После боя завтрак и дорога домой.

Вся страна встала в шесть утра потому что на Стейплс Арене в Лос-Анджелесе наш должен был драться с каким-то черным за звание абсолютного чемпиона мира. Черным был Леннокс Льюис, один из лучших боксеров в истории. Наш — Кличко-старший, как говорили комментаторы, слабейший из двух братьев, с техникой как у экскаватора. Андордог четыре с половиной к одному. С акцентом как у типичного русского бандита. А еще многократно повторяли, что у него нет сердца.

За окном все стучали, хозяйка дома бегала наливать постоянным клиентам. Кличко лениво освистали на выходе. Вместо него должен был драться другой, он был запасным. Льюис долго не выходил из раздевалки. Потом какие-то формальности, Баффер протянул их фамилии, как полагается. Гонг. И тут произошло нечто, что изменило ход истории. Кличко начал бить Льюиса. Резко, не держа дистанцию. Так, будто это последний бой на земле. Зал затих. В

глазах Льюиса появился удивленный страх. Даже алкоголики за окном, кажется, притихли. Пробычный ход вещей всегда берет свое. Он бьет по касательной, цепляется зубами, уходит в клинч и никогда не дает изменить реальность. В жизни не бывает кульминаций и переломов. Они все придумываются и воспеваются после. В момент чуда есть только тишина. Только замершее мгновение, которые выбивает всех из колеи. Кличко сняли в шестом раунде, кровь заливала ему лицо. После этого в честь него назовут эпоху в боксе. Но это совсем неважно. Ведь тогда, в Лос-Анджелесе, на Стейплс Арене, родилась моя страна.

— Ты знаешь, что люди сами по себе собрались и покрасили мост в желто-голубой? — с гордостью спросила меня Кукушка.

Мы ехали в киевском метро. Мы были знакомы третий день. Мост был явно ветхим, вагон дребезжал. Народу не продохнуть. На стенах реклама танцев с высокой зарплатой.

— Моя подружка пыталась поработать в таком месте. Платят копейки, если не спишь с клиентами. Пришлось уйти.

— Принципы?

— Мечты. Хотела рисовать, в итоге единственный осознанный выбор — не быть проституткой, и на том спасибо.

— А что бывают варианты?

— Сейчас флаер найду.

Флаер был мятеньким и тоже желто-голубым. Призывы, митинги, все как обычно.

— Однотипница в своей типографии напечатала, — улыбаясь сказала Кукушка, — купила станок, поставила в квартиру. Что самое смешное, она не очень красивая. На мальчика похожа, угловатая вся. Ну может для любителей это то, что надо. С мальчиками-то особо не погуляешь. Сифилис себе заработала, пока копила. Зато теперь она свободна. Я у нее курсовые иногда распечатываю.

Тяжелый взгляд жены Антона нависал над комнатой больше часа. Все гости на втором дне рождения их дочери были явно лишними. Я выкурил слишком много и невпопад нервно похихикивал во время затяжных пауз. Кукушка старалась держаться максимально достойно и выглядеть чинно, как полагается, чтобы произвести хорошее впечатление. Получалось так себе, но, впрочем, никому до нее не было дела. Кажется, все всё знали, но бури еще не случилось.

Хотя, конечно, знали не все. Антон находился в полном неведении. Он уже пару месяцев как перешел в режим тщательного планирования и конспирации. С любовницей он встречался только на работе и был с ней строг. Он тщательно мылся, стирал все сообщения (потому что Люся читала все сообщения и порой переписывалась от его имени), уделял внимание жене строго, как положено, по графику. А я давал ему практические советы по своим сугубо теоретическим познаниям в изменах. Словом, все было просчитано и схвачено.

Чтобы загладить свою вину перед ребенком, я скупил в магазине игрушек все, что связано со свинкой Пеппой. Мне было стыдно, поэтому я и накурился как отборная свинья. Праздник был семейный: бабушки, родня; я изобразил, что напился и лежал на кровати, разглядывая потолок. Вроде бы не я виноват, да и причины объективные есть, но я в очередной раз стал соучастником. За чужой счет я получал приключение, историю, которую я знал, что вставляю в повесть. Я не чувствовал огромного сострадания к другу, его жене или дочери. Я наблюдал как реальность медленно выковыривает и разрывает в клочья его мечту, и как Антон нервно и истерично бежит к следующей и следующей. Не знаю, война ли это была или просто вечное отсутствие покоя, но жизни разрушались в тот самый момент, чтобы быть пересобранными.

— Будешь торт?

— Да, да, конечно, буду торт, сейчас приду.

Ребенок задувал свечку на торте. Жалкое зрелище. Все учат человечка как выдувать воздух изо рта, после пары неудачных попыток кто-то все же догадывается помочь. Все громко радуются и безмерно умиляются. Через год все повторяется опять, пока ребенку не исполнится пять или

шесть, и он на самом деле не научится задувать свечи. Тогда можно переключится на более свежий образец и опять безмерно умиляться его непутевости.

Люся искала повод, чтобы попрекнуть Антона хоть чем-нибудь: не так вошел, не то сказал, не туда ушел, то не сделал, не с той интонацией. О самом главном она молчала: не была уверена, не знала как сказать. А он раздражался дальше и все больше верил в правильность своего выбора. Так это все скрипело пару месяцев, даже в гости приходиться было невыносимо.

— Ты куда пьешь; тебе родителей завтра везти.

— У моей дочери день рождения, праздник.

И снова тишина.

Кукушка у всех близких мне людей включала буквально школьную правильность. Знаете, такую, с коротеньким, но очень четким катехизисом и ровной спиной, которую произносят со слегка снисходительной интонацией. Ее мать была учительницей, видимо, ей необходимо было нравится именно так. Когда на поучения Кукушки (как нужно родину любить или как правильно себя вести по законам джунглей) что-то возражали, она с упрямой полуухмылкой продолжала твердить свое. Ярость в ней потихоньку накапливалась, было видно, что она сдерживает себя с большим трудом. Потихоньку начинало срывать ее напускную вежливость. И вдруг она выдавала что-то злобное и оскорбительное. А потом повисала тишина и только звенели ее налитые гневом глаза. Через мгновение ненависть медленно отступала, Кукушка начинала слышать тишину, и легкий блик страха вспыхивал над радугой.

Мы вышли покурить: я чтобы подышать, Антон чтобы отдышаться. Я закурил, он все еще хотел выглядеть хорошим. Мы молчали, было тихо и темно. Рядом светилось общежитие, в котором когда-то жила Люся. Ветер мерно постукивал веткой дерева по жести гаража. Жизнь гуляла, носимая легким бризом, ударяясь и падая, не имея шанса найти свое место.

— Я так больше не могу, мне страшно.

В детстве я очень боялся одиночества и темноты. Я не мог быть один. Когда меня оставляли одного, нервное возбуждение толкало меня носиться по квартире, пока я наконец не проходил открытые двери чулана. Мрак рассматривал меня через свои пустые глазницы, начинал кружиться и шепуршать. Ор приходил мгновенно, неконтролируемый, истовый. И я долго-долго кричал, пока темнота не отступит, пока кто-нибудь не прибежит и не включит свет.

Ночью мне зажигали светильник. Пластиковую колбочку, которую втыкают в розетку: нижняя полусфера белая, а верхняя – желтая. Я очень боялся, что когда усну, светильник погаснет, и я останусь один с темнотой, сам о том не подозревая.

Наконец, мои крики всем надоели, и меня решили отвести к специалисту. Ведьма жила в запущенном доме на отшибе, зеленый забор покосился, все как положено. Седовласая бабулька в платочке. Ей заплатили. Внутри была большая деревенская комната, деревянные полы, хлам вдоль стен, пыльные ковры, а еще там было темно даже днем.

Она сказала закрыть глаза. Катала яйцо по голове, ходила кругом и что-то нашептывала на разные голоса. Почему-то мне было очень спокойно. После пяти минут обрядов, она взяла меня за руку, пристально посмотрела на меня и сказала:

— А чего там бояться? Не бойся, там же ничего нет.

Мы шли вдоль набережной глотая воздух несвободы.

— Ты опять сломал мою жизнь. Ты меня сдал.

Антон искренне заставлял себя поверить в то, что это я его сдал. С врагом жить проще, знаете ли. Враг заставляет смотреть разъяренным взглядом вперед, не оглядываясь внутрь. Враг снимает вину. С врагом теплее. С врагом можно ненавидеть, не думая и не ощущая вины. В тяжелую пору всегда ищите врага, чтобы выжить.

Конечно, я его не сдавал. Про его любовницу знал весь город. В очередной раз Антону некуда было бежать. Да если бы и сбежал, то повторилось бы все опять, водоворотом стирая память и все сильнее нося его по кругу одних и тех же грешков и страданий. Кружки все меньше и

меньше, а водоворот все сильнее и сильнее. Выхода нет и не будет; от себя не убежишь. Я смотрел на него в полумраке. Еще не начавший стареть, раздобревший, но скукожившийся и трясущийся от нервов, он будто собиравшаяся твякнуть собачонка, замер и замолк. Призрак моего детства, мой старший друг.

Голубой пассажирский автобус без багажного отделения с трудом преодолевал предгорье Карпат. На улице было плюс тридцать пять, внутри и того больше. Ужасно болела голова. Западенцы знали друг друга и гудели в тон моей боли. У Кукушки задержка. Только что она сказала, что ее тошнит. Она заткнула уши плеером, чтобы не слышать мое нытье. Луч солнца, проникавший из люка, светил мне на лоб.

Очередной подросток споткнулся о мой чемодан, стоявший в проходе.

Пожилая западенка в потертом белом платье спросила:

— Вы шо, в багаж вализу сдать не могли?

— Тут нет багажа.

Она презрительно покачала головой. Ее орущий ребенок ногой пинал мой чемодан.

Детей было много. Детей любили сильно. В автобусе ехали только женщины (в основном бабушки) и дети. Все мужчины и большинство женщин уехали на заработки.

А по обочинам росли дворцы. Разноцветные, многие с красными башенками, многие просто так. В три этажа и выше. С подстриженными газонами, из которых возвышались резные колодцы. Каждый дом был построен так, чтобы быть красивей и выше, чем у соседа. Каждый дворец был в процессе извечной достройки. Зарабатывали на них долгими годами рабства, слез и разлученных семей. Зарабатывали в Италии, Португалии и Москве. Эти дворцы, гробницы, последние мечты о лучшей и счастливой жизни в единой семье. Скоро, вот-вот, когда достроят третий этаж.

Ребенок прошел по моему чемодану и уже наступал на джинсы. Батарейка телефона сдохла, музыка тоже. Гудела голова. Лопотали местные.

Я жутко боялся, что у нас с Кукушкой будет ребенок. Что в этот разоренный, убогий, обугленный мир я принесу еще немного страданий. А если честно, я боялся ее припадков: что они перейдут к нему, а от него к внукам и правнукам. И что мои проклятые нервы тоже.

Потому что я точно знаю: лучше не жить, чем жить так и там.

Кукушка сидела рядом и злилась на меня. Будто бы вся эта нелепая ситуация зависела от моей воли. Я дал ей почитать этот текст, она психанула и стерла половину. Теперь уже и не вспомнить, о чем он был. Наверное, когда я его писал, в нем было больше любви.

В мираже дороги замаячило черное пятно. Чуть позже стали видны черные флаги. Потом разбитые горем лица людей. Автобус резко затормозил. Все синхронно стали креститься. В гробу лежала молоденькая девушка в фате. Она была белокурая, редкость среди чернобровых. “Врожденный порок”, — сказал кто-то из соседней деревни. Водитель автобуса постоял минутку, сняв кепку, а потом начал ехать быстрее, будто бы пытаясь показать, что ничего не произошло, что девушка не была мертва, что мы так и ехали, без остановок. Потихоньку все наши попутчики вышли, мы остались в автобусе одни. Кукушка заснула на моем плече. Только жара и разбитая дорога перед нами.

Калипсо

На палящем солнце Испании, в тихом ворчании насекомых, распустились ирисы; слышно было, как травинки сворачиваются под жгущими лучами. Ветра не было: вода подрагивала скорее по привычке и мерной грядой подходила к мраморной кромке бассейна, чтобы потом, тихо шурша, падать в сток, над которым большим красным бутоном цвел папоротник. Ни один листок не шевелился, легкий гул был фоновым, присущим только этому саду, как имя, как местоблюститель пустоты; и вот имя пропало в трели красной птицы, посягнувшей на пространство неба, выжженного лучами полуденного солнца. Ничто не предвещало покоя: сонный паук полз по мрамору, в траву, мимо мириад водных капель, мимо дня, жары и

отсутствия ветра; в плену у нимфы и моря. Ничто не предвещало заката: светило палило безбожно, в гуле ясного неба, до самой кромки рассвета, падая за горами в темную россыпь звезд; утром болели восходы, долго и нудно взлетая, и это все продолжалось тысячи дней подряд. Нет никакой надежды; солнцу вставать зарано, ирисам все цвести. На палящем солнце Испании, возле вечного, красного цветка папоротника, упал садовник.

Его подхватили сильные руки и потащили по саду: подальше от красного цветка, по траве, вдоль самой кромки бассейна. Глаза его вперились в иссиня-белое небо, где не было всякого смысла, им некуда больше смотреть. Ее надоевшая челка свисала сверху над ним, ее грузные капли пота падали ему на лоб. "Потерпи, потерпи", — она все время нашептывала, приговаривала, заколдовывала, задыхаясь от тяжести, таща его по ступеням тихонько, так, чтобы никто не услышал. "Потерпи, потерпи, все будет, нужно только чуть-чуть подождать". Она втащила его на кровать, распахнула настежь окно, впусив щебет заморских птиц и легкий бриз, набрала воды, побрызгала на лицо. "Терпи, видишь какой молодец, терпи. Все будет." Она присела рядом, он впервые за долгое время почувствовал ее тепло; большая, грузная, она подрагивала от усталости и горя; потом резко встала, подошла к зеркалу, стерла капельки пота со лба. "Терпи, я скоро вернусь. Сейчас время ужина, пора накрывать на стол. Хозяйка будет ругаться. А ты потерпи, милый. Все будет". Она захлопнула дверь. Умирать он остался один. Горный ветер дул из окна. Взгляд его приковал паучок, черная точка на белой стене, медленно ползший вверх, вдоль неровностей стен, вдоль белых холмов, неумолимо вперед, выше, сильнее и быстрее, так, чтобы падать больней, черными искрами глаз, уставившись в вечную тьму, ножками перебирая белую плоскость стены. Паучок, перешедший грань стены и небес, сделал пару шагов и неловко упал на бледный холодный лик.

Она вошла в темноту комнаты. Ураган шумел за окном. Села на кровать, поближе. Она еще находилась там — в роскоши залов и богатстве блюд; в мире, где подающий сливается с подаваемым, где ты становишься частью интерьера, но где портьеры и мрамор становятся как бы твоими, по сходству, по инерции, по переливанию свойств; где безразлично твое положение, ведь твои ноги топчут тот же пол, ты вдыхаешь те же запахи тех же блюд (она была кухаркой, она знала даже, каковы они на вкус), где ты часть общей композиции достатка и он как бы часть тебя. Ее муж был мертв, в этом не могло быть никакого сомнения, она не хотела возвращаться назад, танцуя мысленно в той реальности, на которую она променяла свою жизнь.

— Скоро мы вернемся. К тому времени достроят третий этаж. Помнишь, какой красивый у нас дом? Я так старалась. И сад у нас будет такой же, как здесь. Лучший дом в округе. Мы соберемся в нем, все вместе, всей семьей. Приедут родственники, позовем соседей. Будут все-все-все, понимаешь? Будут дети, они нас так любят. Это все не зря, это все для них. Закатим пир, племянница поможет готовить. И все будут счастливы, понимаешь? Мы останемся там навсегда, дети помогут. Для каждого есть своя комната. Все будут нас уважать. Это все не зря, ты же знаешь. Это все для них. И простоит этот дом много-много лет, даже когда нас не станет. И все будут помнить и знать. Ты только дыши, хорошо?

Кукушка извивалась и постанывала. Она любила повторять: "Запомни меня хорошенько, другой такой у тебя не будет." Она просила бить ее по лицу. Она любила смотреть на себя в зеркало. Она просила называть ее тринадцатилетней девочкой. Она любила, когда ее связывали и терпеть не могла, когда с ней церемонились. Она любила рассматривать свои бедра и рассказывать, что они у нее уникальные. Она, она, она... Словом, ее действительно тяжело забывать.

Мы вышли из душного номера в центре города. Она была в красном платье с черным поясом, которое развивалось на ветру под стать красно-черным флагам на фонарных столбах. Франковск был наш, но совершенно чужой: в нем произошел тот перелом, которого все ждали; он дистанцировался, обособился. Я чувствовал, что этот город не примет меня мной с моей позицией наполовину, с моим языком, с моими мыслями. Я автоматически перешел на

украинский. Так уходило ощущение опасности.

Она вела меня за руку. Мимо фонтанов и площадей, портретно застывая на секунду и резко продолжая движение. Мимо ратуши и скверов, мимо героев и убийц, мимо листовок пропаганды и мертвых поэтов, она тянула меня вперед. Вперед и вперед. Со своими золотыми косами и алым платьем. Вперед, к развязке. Мимо многоэтажек советской застройки и билбордов, продававших новый мир, к статуе Бандеры до жути напоминавшей лучшие образцы Ленина; замирая в вольном зиг хайль. Она была прекрасна.

Мы шли вдоль набережной полной вздохов. Вздыхала река, вздыхали мы, вздыхала ночь. Все было ясно и в то же время как-то беспокойно: недосказано. Будто нужно было все еще раз проговорить, до последней запятой. Так, чтобы в процессе рассказа все само собой решилось. Чтобы вот вроде темно, а при этом все видно, прямо до горизонта. Чтобы вроде мы, а вроде начертано. Чтобы не так страшно было. Чтобы сюжет был. Чтобы идти вперед, единым маршем, нога в ногу. И знать, что за твоей спиной есть что-то большее, сильное. Не страна, не бог, не подумайте. Вот просто, как в детстве, что ли, когда ты смотришь в будущее и видишь, что все выйдет, все сложится, будто не может быть иначе, будто нет всего вокруг, будто нет всех этих “но” и просто одно твое упорство, желание, видение всех дорог изменит все. Ты чувствуешь, как воздух самостоятельно резко покидает легкие; ничего нельзя с этим сделать. Антон вздохнул:

— Да, чувак...

Он крепко сжимал свой бок, натужно натягивая улыбку. Боль была очевидна, но улыбка — вопрос чести. У бабушкиной сестры жили беженцы. Ее одноклассники. У него — рак и неразорвавшаяся бомба посреди белого лохматого ковра в гостиной. У нее — правильность и тоска в глазах. Учителя, под звук снарядов сидевшие в подвале. Старики подполья. Я не любил к ним ходить. Они старались не мешать и слишком старались быть вежливыми. Спрашивали, как “там”. Ничего хорошего в ответ не слышали. Ничего хорошего сказать тоже не могли. И как-то вот неловко: и злости уже нет и жизни тоже нет. Телевизор, да за продуктами. И вот ты доедаешь четвертое блюдо из пяти, а тебе трясущимися усохшими руками несут чаек; а сказать-то, в общем-то, и нечего. Спросить тоже, и так все понятно. А они, вроде как, и ждут. Спрашиваешь про бандитов. Говорят, что машину там оставили в гараже. Новую. Отвечаешь, что Дмитрий Быков не твой любимый литературовед. Прихлебываешь чаек. Рассматриваешь фигурки в серванте. И ты знаешь, что все это не про тебя, у людей трагедия, а ты тут чай пьешь. При этом до деталей выпрашиваешь подробности их судьбы в пересказах, а у самих и спросить-то нечего. Неловко. И ты понимаешь, что он скоро умрет. Все это понимают. Она останется одна и никогда не вернется домой. Машину уже экспроприировали под нужды, а на бомбу посреди ковра сыплется уже второй первый снег. Он крепко сжимал свой бок, натужно натягивая улыбку. Боль была очевидна, но улыбка — вопрос чести.

Мою любовь убила невозможность летать. В весьма банальной интерпретации. Осенью запретили самолеты. Поездка на четыре дня превратилась в поездку на два плюс два дорожущего вагона. Кукушка не хотела в Москвабад, у меня не хватало времени. “Все сдулось, как воздушный шарик,” — говорила она. Никаких хлопков, одно вечное хныканье. Кукушка приехала ко мне разок, я к ней пару раз. Но все это было уже не то. Я знал, что с ее характером повешусь. Она знала, что я знаю. Я пытался до последнего; она, хочется верить, что тоже.

Теперь я с легкой тоской просматриваю миллион фотографий, который она заставляла меня делать в любых погодных условиях, вздыхаю и пытаюсь смотреть проще. Она горделиво выкладывает фото своего нового бойфренда. Жутковатый местный тип; я не могу определиться, кого мне больше жалко: его, ее или себя.

Словом, все идет, как оно, наверное, должно бы. Кукушка на родине и всем активно

демонстрирует, что она счастлива. Я? Стараюсь не париться. Ну, в глобальном смысле. Не надеюсь изменить движение литосферных плит, спасти принцессу или доказать человечеству его ущербность. Так, день за днем, поменьше новостей, побольше дела; планы подальше, без каких-то глобальных вопросов.

А? Антон. Ну, Антон развелся во второй раз. Уехал с девушкой в Киев. Качается. Курит только по вечерам. Помирился с матерью первой дочки. Теперь видит обеих раз в две недели. Очень любит. Иногда рассказывает, что не хочет жить. Порой рассказывает, что очень хочет. Короче, все как обычно.

Мы шли вдоль набережной под звуки расцветающего неба. Фейерверки глухими ударами разрывали пространство-время. Сквозь кружащиеся годы, сквозь тусклое стекло памяти, сквозь звуки вечной реки. Последнее чудо умирающего мира.

Салют на день независимости. Единственный настоящий праздник. Все люди высыпали на улицу, на набережную. Мы шли в толпе. Кто-то переговаривался, а кто-то просто смотрел, открыв рот, на красоту разрушения.

— Нам пора возвращаться, — сказал Антон вдогонку последнему догорающему фейерверку.

— Мы ведь еще... — хотел было сказать я, но решил, что на фразе Антона можно и остановиться. Ведь все недостающие моменты, детали, мечты, все недосказанное и недописанное не имеет смысла вне своей канвы. Взрывы закончились.

“Нам пора возвращаться”. От Антона я слышал эту фразу тысячу раз. Она прерывала веселье, грусть, самый откровенный разговор и просто пустое невротическое повторение по кругу. Мир ждет, проблемы ждут, завтра будет день; нужно сделать паузу, прервать пространство. Именно это делало наши разговоры значимыми: мало времени, мало места, все не скажешь. Дальше, понятно, по силам, по возможностям, куда доплывешь. Всегда будет, что рассказать, всегда будет, что додумать в промежутке. Нам пора возвращаться.

Мы проходили через набережную по дороге на пляж. Теплое солнце раннего августа. Оставалась надежда, что водоросли на Днепре еще не зацвели, и есть возможность хорошенько поплавать. Кукушка была во втором по модности купальнике сезона. Первый просто носили все, а второй был оригинально сделан, да и вообще лучше сидел на бедрах. Мы расстелили синее полотенце с дельфином. Одно на двоих, нам больше и не надо. Кукушка щебетала что-то про новый лак.

На жаре вода казалась ледяной. Я стоял по колено, когда Кукушка зашла уже по пояс. Мне всегда было тяжело заставить себя прыгнуть сразу и с головой. В итоге я растягивал мучение порой на полчаса, по миллиметру заходя в воду, а потом с испугу делая шаг назад. Мне не хотелось выглядеть нелепо при Кукушке, поэтому я все же пересилил себя.

Больше всего я люблю первые гребки. Когда ты чувствуешь каждую частичку воды на своем теле и быстрыми движениями пытаешься согреться, сродниться с водой. А потом, когда поднимаешься около берега, уже понимаешь, что холодно не в реке, а снаружи. Кукушка забавно, по-собачьи, барахталась около берега. Перед выходом она заявила мне, что умеет плавать. Возможно, не так хорошо, как я, но вполне себе достойно.

Я решил научить ее. Минут через пятнадцать стало получаться получше. Я поплыл вперед, она за мной. Через пару гребков обернулся. Кукушки не было, только рука тряслась над водой. Я рванул к ней, она схватила меня крепко-крепко, за туловище, за руки, и потянула на дно. Я пытался освободить руки, запутываясь в потоке ее волос, пытался оттолкнуться от земли, пытался грести ногами, но она сжимала меня крепче и тянула вниз. И я понимал, что мне не хватит сил ее вытащить. Я продолжал биться, задыхаясь в ее объятиях.